

Алан Уотс

Это Оно



Алан Уотс

Это Оно

Некоторые люди ошибочно полагают, что поиск просветления — это либо инфантильная регрессия, либо просто бегство от действительности в некие «иные миры». Но это не так. Просветление, как пишет Алан Уотс, составляет самую суть того, что происходит прямо здесь и сейчас во всем космосе. Оно включает в себя все уровни бытия и все миры — от наиболее плотных, материальных до возвышенных, эфирных, но в то же самое время оно за пределами всего этого. Просветление — это то особое состояние осознания, которое озаряет все творение, делая его ясным и понятным, доступным для внутреннего взора. И то, что видит внутренний взор, оказывается следующим: Я — это вся Вселенная, я присутствую везде. Это парадоксально, но просветленный, пребывая в своем сознании за пределами времени, пространства и причинности, в то же время в большей мере находится в реальном мире, чем кто-либо другой. Когда вы реализуете в себе свою сущность, вечную и бесконечную, пребывая здесь и сейчас, вам больше некуда идти и нечего искать — вы «здесь и теперь» в наиболее фундаментальном смысле и чувствуете себя во Вселенной как дома.

В данной книге Уотс обсуждает взаимоотношения между обыденным и космическим сознанием, а также показывает, что просветление есть не что иное, как полная отдача себя состоянию здесь и сейчас. Как однажды сказал один мудрый йогин, в самом окружающем мире нет ничего неправильного, оно — в нашем отношении к нему. Вопрос о том, как достичь просветления, заключается главным образом не в том, «что мне следует делать в будущем, чтобы достичь его?», а в том, «что из того, что я делаю в настоящий момент, мешает мне реализовать его прямо сейчас?» Ответ таков: все то в нас, что основывается на Эго, упорствует в утверждении нашей собственной отделенности и сопротивляется признанию той разумности, которая живет во всех нас, — Любви, как выразился Данте в финале «Божественной комедии», «к которой движется все творение».

Самым впечатляющим фактом человеческого духовного, интеллектуального и поэтического опыта для меня всегда было универсальное

преобладание удивительных мгновений интуитивного прозрения, которое Ричард Бёкк назвал «Космическим Сознанием». На самом деле удовлетворительного названия для такого типа опыта не подберешь. Назвать его мистическим — значит спутать с видениями иного мира или с видениями богов и ангелов. Назвать его духовным или метафизическим — значит отказать ему в предельной физической конкретности, тогда как сам термин «Космическое Сознание» обладает непоэтичным привкусом оккультного жаргона. Однако во все исторические времена и во всех культурах мы находим свидетельства о возникновении одного и того же безошибочного чувства, как правило, внезапного и непредсказуемого, не имеющего какой-либо четко понимаемой причины.

Такому просветленному человеку свойственна живая и всеобъемлющая уверенность в том, что Вселенная, такая, какой она является в данный момент, и как целое, и в каждой своей части совершенна настолько, что не требует никаких объяснений и оправданий, кроме того, что просто она есть. Существование перестает быть проблематичным, а разум настолько захвачен самоочевидной и самодостаточной согласованностью вещей такими, какие они есть, включая и те из них, которые обычно принято считать самыми неприятными, что не способен найти какое-либо слово, достаточно сильное, чтобы выразить совершенство и красоту переживания. Его ясность приносит иногда ощущение, что мир сделался прозрачным или сияющим, а его простота — ощущение того, что он пронизан и упорядочен высшей разумностью. В то же время человек обычно чувствует, что весь мир стал его собственным телом и что сам он не только стал всем, но и всегда был этим всем. И это не значит, что он теряет свою идентичность до такой степени, что смотрит на действительность другими глазами, став в буквальном смысле слова всеведущим, как будто его индивидуальное сознание и существование приняты чем-то неизмеримо большим, чем он сам, в качестве всего лишь одной из точек зрения.

Сердцевину такого переживания составляет, надо полагать, убежденность или интуитивная уверенность в том, что целью и осуществлением всякой жизни является непосредственное мгновение «сейчас», какова бы ни была его природа. Из этого озарения разливается эмоциональная экзатичность, чувство интенсивного облегчения, свободы и легкости, а часто и почти невыносимой любви к миру, которая, тем не менее, остается вторичной. Нередко наслаждение переживанием путают с самим переживанием, интуитивное прозрение теряется среди экстаза, так что, пытаясь удержать вторичные эффекты опыта, человек пропускает его суть — то, что происходит именно сейчас, даже если оно и не экзатично. Ведь экзатичность всегда будет составлять преходящий контраст с постоянной флуктуацией наших чувств. А озарение остается, если оно достаточно ясно; после того как определенный навык усвоен, способность его применять скорее всего также сохранится.

Термины, при помощи которых человек интерпретирует этот опыт, извлекаются естественным образом из религиозных и философских идей его культуры, и за их различиями часто не видна их основополагающая

идентичность. Подобно тому как водный поток устремляется по пути наименьшего сопротивления, так и эмоции облакаются в те символы, которые оказываются под рукой, а ассоциации с ними происходят настолько быстро и автоматически, что символ может показаться самой сущностью переживания. Ясность — исчезновение проблем — подразумевает свет, и поэтому в мгновения острого прояснения может появиться физическое ощущение того, как все вокруг пронизывается светом. Верующему это естественным образом представится как проблеск Божьего присутствия, как, например, в знаменитом свидетельстве Паскаля:

В год милости Божьей, 1654-й, В понедельник 23 ноября, в день св. Клементия... С половины одиннадцатого вечера До половины первого ночи, ОГОНЬ Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не философов и мудрецов. Уверенность, радость, уверенность, чувство, радость, умиротворение.

Или же в случае, который приводит Уильям Джеймс:

Словно сами небеса раскрылись и излились лучами света и славы. И не на мгновение только, но весь день и всю ночь как будто потоки света и славы протекали через мою душу, и я изменился, и все кругом стало новым. Изменились лошади мои, и свиньи, и все остальное.

Но ясность будет также подразумевать прозрачность, то есть ощущение, что противостоящий нам мир больше не является препятствием, а тело бременем. В уме буддиста это самым естественным образом будет ассоциироваться с учением о том, что реальность — это неощутимая и невыразимая пустота (шуньята).

Я вернулся в зал и был уже готов сесть на свое место, как все вокруг изменилось. Открылся широкий простор, и земля выглядела как бы осевшей... Я оглядывался по сторонам, и вверх, и вниз, вся Вселенная со всеми своими многочисленными осязаемыми предметами представала теперь совсем по-другому: то, что прежде было отвратительным, вместе с неведением и страстями, теперь виделось не чем иным, как истечением моей собственной изначальной» природы, которая сама по себе оставалась сверкающей, подлинной и прозрачной (1).

Подобно тому как одно и то же ощущение боли можно описать и как горячее, и как холодное, так и описания интересующего нас переживания могут принимать формы, которые кому-то покажутся взаимопротиворечивыми. Кто-то может сказать, что нашел решение всей загадки жизни, но почему-то не способен облечь его в слова. Другой скажет, что никакой загадки никогда не было, а значит, нет и никакого ее решения, поскольку в его переживании с очевидностью выяснилась неуместность и искусственность всех наших вопросов. Один заявляет о своей убежденности, что нет никакой смерти, что его истинная са- мость так же вечна, как Вселенная. Другой утверждает, что смерть просто перестала иметь для него значение, ведь настоящий момент совершенен настолько, что не требует никакого будущего. Кто-то чувствует себя захваченным и соединившимся в одно целое с какой-то иной жизнью, которая бесконечно отличается от его собственной. Но, подобно тому как сердцебиение можно рассматривать и как то, что с вами происходит, и как то,

что вы сами делаете, — в зависимости от точки зрения, — так же человек почувствует в своем переживании не трансцендентного Бога, а собственную подлинную природу. Кто-то почувствует, что его Это, или самость, так расширилось, что объемлет собой целую Вселенную, тогда как кто-то другой осознает, что совсем потерял себя, а то, что называлось его Это, всегда было всего лишь абстракцией. Один будет описывать себя бесконечно обогатившимся, в то время как другой скажет, что его забросило в такую абсолютную бедность, где даже собственные тело и ум ему не принадлежат и никому в мире нет до него дела.

Описание переживания редко обходится без метафор, которые, кстати, могут завести в неверном направлении, если их воспринимать буквально. Однако, читая «Набросок, для автопортрета*» Бернарда Беренсона, я наткнулся на отрывок, являющийся наипростейшим и «наичистейшим» описанием этого переживания из всех, которые я знаю.

Это было как-то утром в начале лета. Над липами мерцала серебристая дымка. В воздухе густо разливался их аромат. Температура была ласковой. Я помню — и мне не нужно специально вспоминать это, — как я взобрался на пень и внезапно почувствовал себя погруженным в Это (Itness). Тогда я не называл это так. У меня не было нужды в словах. Это и я были одним целым (2).

Просто «Это», «Оно», как в тех случаях, когда мы обозначаем грамматическую превосходную степень, или точное попадание, или интенсивную реальность, или то, чего мы всегда искали. Не просто средний род какого-то объекта, а нечто еще более живое и гораздо более обширное, чем наше персональное; то, для чего мы используем простейшее из слов, потому что у нас нет для него никакого — слова вообще.

Особенно трудно найти верные средства для выражения переживания в культурном контексте христианства. Хотя просветление к христианам приходит так же часто, как ко всем остальным, перед христианской мистикой всегда стояла опасность конфликта с ревнителями ортодоксии. Приверженцы христианского догматизма строго настаивают на радикальном различии между Богом и созданной им Вселенной, а также между Богом и человеческой душой. Они настаивают на вечном противостоянии, и на отвращении Бога к злу и греху, а поскольку зло и грех остаются самыми настоящими реалиями, действительное спасение мира возможно, с их точки зрения, только в конце времен. Но даже и тогда ад навсегда останется со — стоянием постоянного заточения и наказания для сил зла. Тем не менее и в этой системе доктрина всемогущества — ничто не может быть совершено без Божьего соизволения, даже грех — позволяет христианскому мистiku высказать невыразимое: «надлежит грешить, но все будет хорошо, и все непременно будет хорошо, и весь порядок вещей будет хорош» (3).

Христианское чувство реальности зла — при том, что время и история считаются процессом преодоления зла, — настолько крепко засело в нас, что даже в нынешнем постхристианском интеллектуальном климате нам бывает трудно принять «Космическое Сознание» в качестве чего-то большего, чем

вдохновляющая галлюцинация. Оно могло бы стать приемлемым как видение некоторого «отдаленного» божественного события» в будущем, но с нашим прогрессивным мировоззрением, наверное, невозможно принять его как видение вещей такими, как они есть. И даже в описании своего собственного переживания Ричард Бёкк тоже подразумевает некое будущее время:

Внезапно, без какого бы то ни было предупреждения, я почувствовал себя погруженным в облако цвета пламени. На миг пришла мысль об огне, о гигантском пожаре в целом городе где-нибудь неподалеку, но уже в следующую секунду я знал, что огонь этот во мне самом. Сразу же вслед за тем меня охватило чувство ликования, невероятного веселья, немедленно перешедшее в интеллектуальное озарение, описать которое невозможно. Кроме всего прочего, я не просто пришел к убеждению, но увидел, что Вселенная вовсе не состоит из мертвой материи, а наоборот, представляет собой живое Присутствие; я стал осознавать в себе вечную жизнь. Это не была убежденность в том, что я обладаю вечной жизнью, это было сознание того, что я обрел тогда вечную жизнь; я видел, что все люди бессмертны и космический порядок таков, что все вещи безупречно действуют вместе во благо всех и каждого; видел, что основополагающим принципом мира, или всех миров, является то, что мы называем любовью, а счастье каждому и всем — в конечном счете — абсолютно обеспечено. Видение продлилось несколько секунд и ушло, но память о нем и о смысле реальности, который был в нем преподан, осталась у меня на четверть века, которые протекли с того времени (4).

Тем не менее «сознание того, что я обрел тогда вечную жизнь» соответствует буддийскому пониманию, что «все вещи пребывают в нирване с самого начала» и что просветление, пробуждение, — это не созидание нового состояния дел, а узнавание того, которое есть всегда.

Такой опыт подразумевает поэтому, что наше нормальное восприятие и оценка мира являются субъективным и в то же время коллективным кошмаром. Он подразумевает, что наше обычное чувство практической реальности — мира, каким он видится утром в понедельник, — является конструкцией социальной обусловленности и подавления, системой избирательного невнимания, посредством которой мы учимся отгораживаться от аспектов и отношений в природе, не согласующихся с правилами игры цивилизованной жизни. Все же наше видение почти неизбежно несет в себе понимание того, что даже такое сужение сознания тоже составляет часть вечной взаимоприспособленности вещей. По словам дзенского мастера Генша:

«Если понимаешь, то вещи такие, как они есть; Если не понимаешь, вещи тоже такие, как они есть,» —

и это «как они есть» представляет собой предельно несомненный и самодостаточный характер вечного «сейчас», в котором, как сказал Чжуан-цзы:

«Слишком короткие утиные ноги нельзя удлинить, не причиняя утке неудобства; слишком длинные журавлиные ноги невозможно укоротить, не доставляя неудобства журавлю.»

Ведь в каком-то смысле визионерское состояние приходит как бы вследствие принятия факта, что у тебя его нет, вследствие готовности быть

таким несовершенным, как ты есть, — полностью несовершенным. Теперь легко увидеть, почему такой способ смотреть на вещи может быть приемлем в культурах без чувства надежды и истории, и каким образом он на самом деле может быть единственным базисом для той философии, которая способна сделать жизнь терпимой. И действительно, вполне вероятно, что «исторический динамизм» христианского Запада — это сравнительно недавнее Теологическое открытие, так что мы уже не можем без угрызений социальной совести петь гимн «Laissez-faire» (* – Не мешайте *note 1*. — Прим. перев.), в котором говорится:

«Богача в его замке, бедняка у своей калитки Он поставил высоко или низко, Он распорядился их состоянием», —

а затем переходить к восклицанию:

«Все вещи яркие и прекрасные, все создания великие и малые, Все вещи мудрые и удивительные — все их сотворил Господь Бог!»

Даже если позволительно воспользоваться переживанием с таким намерением, само оно ни в коем случае не является философией, предназначенной для того, чтобы оправдать жизненные несправедливости или примириться с ними. Так же как и влюбленность, оно имеет минимальное отношение к какому-либо отдельному культурному фону или экономическому «состоянию». Это переживание нисходит на богатого и на бедного, на нравственного и безнравственного, на счастливого и на отчаявшегося без разбору. Оно несет с собой исчерпывающую убежденность в том, что мир во всех отношениях остается чудом, и хотя это должно исключать необходимость поделиться с другими результатами своего видения и пробудить их от кошмара, обычной реакцией становится стремление передать им свой опыт в словах или поступках, но не с ощущением обязанности, а с острым удовольствием.

В свете этой новой перспективы преступления и глупости обычной кошмарной жизни человека кажутся уже не злыми или бестолковыми, а просто достойными жалости. Появляется чрезвычайно странное ощущение, что видишь людей, в их благих и дурных намерениях, похожими в то же время на богов, как если бы они были в высшей степени счастливы, не зная об этом. Как говорил Кириллов Ставрогину в «Бесах» Достоевского:

» — Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас станет счастлив, сию минуту. (...) Я вдруг открыл.

— А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — это хорошо?

— Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот и вся мысль, вся, больше нет никакой! (...) Кириллов промолчал.

— Они нехороши, — начал он вдруг опять, — потому что не знают, что

Note1
франц.

они хороши. Когда узнают, то не будут насилловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас станут хорошими, все до единого.»

Обычно можно почувствовать резкий контраст между изумительной структурой человеческого организма и его мозга, с одной стороны, и тем, для чего большинство людей ее использует, с другой. И все же, наверное, можно допустить точку зрения, по которой естественное чудо организма просто затмевает убогие трюки поверхностного со– знания. Подобным образом, такое странное раскрытие видения не позволяет вниманию оставаться сфокусированным исключительно на деталях зла; они оказываются менее значимыми в сравнении со всеп– роникающей разумностью и красотой общего устройства.

Такой проблеск интуиции не имеет ни малейшего отношения ни к «необоснованному оптимизму», ни к схватыванию смысла Вселенной в терминах какого-нибудь изящного философского упрощения. Помимо этого, в любых философских суждениях или рассуждениях звучит что– то вроде утонченного варианта детских выкриков: «Вот!» — «Нивот!», «Вот!» — «Нивот!» — продолжающегося у детей до тех пор (если бы философы смогли поступить так же!), пока они не уловят бессмысленность этого и повалятся наземь с оглушительным хохотом. Больше того, будучи очень далеким от чопорного рационализма мистера Панглосса, переживание имеет тенденцию возникать в ситуациях всецелой экстремальности или отчаяния, когда у человека не находится никакой другой альтернативы, кроме как полностью сдаться.

Что-то вроде этого произошло со мной во сне, когда мне было лет восемь. Я в то время болел и от жара почти впал в беспамятство, и в сновидении обнаружил себя распростертым лицом вниз на огромном стальном шаре, который вращался вокруг Земли. В сновидении я с совершенной уверенностью знал, что обречен вращаться в этом ужасном изнурительном кружении навсегда, и убежденность в этом была такой твердой, что не оставалось ничего другого, кроме как сдаться — ведь то была сама преисподняя, и ничего, кроме вечно длящейся боли, у меня не оставалось. Но в тот самый миг, когда я сдался, мой шар как бы ударился о какую-то гору и рассыпался вдребезги, и сразу вслед за тем я обнаружил себя сидящим на полоске теплого песка среди иско– реженных стальных обломков шара. Это, конечно, не было опытом «Космического Сознания», а просто переживанием того факта, что, отпуская себя в экстремальных обстоятельствах, направляешься пря– мо сквозь проблему, а не в сторону от нее.

То, другое переживание пришло ко мне гораздо позже; оно было вдвое интенсивнее и сопровождалось тем, что скорее следовало бы назвать сиянием, а не блистающей вспышкой. Вскоре после начала моих занятий индийской и китайской философией я сидел однажды ночью у огня, пытаюсь разобраться, в чем состоит правильная предустановка ума при медитации, практикуемой в индуистской и буддийской традициях. Мне казалось, что здесь возможны несколько умственных установок, но, поскольку выглядели они взаимоисключающими и противоречивыми, я старался свести их к

одной-единственной — без какого бы то ни было успеха. В конце концов с полнейшим отвращением к результатам своих стараний я решил отказаться от них всех и впредь не устанавливать для практики вообще никакой установки ума. Оказалось, что, слясь их отбросить, я отбрасываю и себя самого, поскольку внезапно тяжесть моего тела исчезла. Я чувствовал, что не обладаю ничем, не обладаю даже своей самостью, и что сам в свою очередь ничему не принадлежу. Весь мир стал таким же прозрачным и беспрепятственным, как мой собственный ум; «проблема жизни» просто перестала существовать, и в течение почти восемнадцати часов я сам и все вокруг меня воспринималось как листья на ветру в осеннем поле.

Во второй раз переживание имело место несколькими годами позже, после периода, когда я пытался практиковать то, что буддисты называют «собранием» (smṛiti), или непрерывным осознанием непосредственного настоящего момента, в отличие от привычной череды бессвязных отвлечений на воспоминание прошлого и предвосхищение будущего. Но вот однажды вечером кто-то из тех, с кем я его обсуждал, спросил: «Зачем же пытаться жить в настоящем? Несомненно, мы всегда и всецело в настоящем, даже когда думаем о прошлом или о будущем». Это и в самом деле вполне очевидное замечание снова вызвало у меня внезапное ощущение потери веса. В то же время настоящее как бы стало своеобразной движущейся безмолвностью, вечным потоком, из которого ни я, ни что-либо другое не смогли бы выйти. Я увидел, что все на свете, именно такое, как оно существует сейчас, это ОНО — та точка полноты, в которой должна быть жизнь Вселенной. Я понял, что когда в Упанишадах говорится: «Ты есть То!» и «Весь этот мир есть Брахман», то подразумевается именно то, что сказано. Любая вещь, любое событие, любое переживание в их неизбежном «сейчас» и во всех их собственных частных индивидуальностях являются именно тем, чем им следует быть, и это соответствие настолько точно, что они приобретают божественную весомость и оригинальность. До меня дошло с полнейшей ясностью, что ни одна вещь не зависит от моего видения ее такой; вещи существуют так, как они есть, понимаю я их или нет, а если я их не понимаю, то это тоже ОНО. И больше того, я чувствовал, что теперь понимаю, больше чем могут думать христиане, когда говорят о любви Бога, а именно, что, несмотря на общеизвестное несовершенство вещей, они все равно любимы Богом такими, каковы они есть, и что эта любовь одновременно обожествляет их самих. В тот раз живое ощущение света и ясности сохранилось у меня на целую неделю.

Эти переживания, усиленные другими, последовавшими за ними, стали с тех пор оживляющей силой во всех моих писательских и философских трудах, хотя я пришел к пониманию того, что суть не в том, каким образом я чувствую, — все равно, присутствует действительное чувство свободы и ясности или же нет, ибо чувство тяжести или ограниченности — это тоже ОНО. Но с этого момента философ сталкивается со странной проблемой коммуникации, особенно затруднительной, если его философия проявляет некое родство с религией. Люди поддаются, надо полагать, устойчивому впечатлению, что об этом предмете говорится или пишется с целью их усовершенствования или

принесения им какого-то блага, и предполагают при этом, что говорящий или пишущий сам уже усовершенствовался и способен теперь высказываться авторитетно. Другими словами, философ невольно оказывается в роли проповедника, и от него ожидается непременно выполнение той практики, которую он проповедует. Вследствие этого истинность того, что он говорит, проверяется по его характеру и нравственным качествам: проявляет ли он тревожность, зависим ли от «материальных костылей» вроде вина или табака, нет ли у него язвы желудка, пристрастен ли он к деньгам, склонен ли впадать в гнев или в депрес–сию, влюбляется ли в неподобающих обстоятельствах и не выглядит ли подчас слегка усталым и потрепанным..Все эти критерии могли бы быть вполне существенными, если бы этот философ проповедовал свободу от человеческого облика или же если бы он пытался радикально улучшить себя самого и других.

На протяжении одной жизни почти у каждого человека есть, конечно же, возможность самосовершенствоваться — в пределах, опре–деляемых энергией, временем, темпераментом и тем уровнем развития, с которого он начал. Есть, очевидно, в этом и надлежащее место для проповедников и других технических консультантов в делах человеческого совершенствования. Однако подобные улучшения могут производиться в определенных границах, достаточно малых по сравнению с обширными аспектами нашей природы и наших обстоятельств, кото–рые остаются теми же самыми и плохо поддающимися совершенствованию, даже если оно желательно. Поэтому я считаю, что, несмотря на желательность и возможность улучшения себя и других, разрешение проблем и умение справляться с ситуациями, это совершенствование ни коем случае не должно становиться единственным или даже главным делом жизни. Не должно это быть и принципиальной работой в философии.

Люди добиваются исполнения своих целей в огромной круговращающейся Вселенной, которая, как мне кажется, не имеет вообще никакой цели в нашем смысле. В природе гораздо больше игрового начала, чем целесообразности, и не стоит удивляться как некому ее дефекту вероятности того, что у нее нет каких-либо специальных целей в будущем. Наоборот, природные процессы, как мы видим их и в окружающем мире, и в произвольных проявлениях нашего собственного организма, куда больше напоминают искусство, чем бизнес, политику или религию. Особенно похожи они на искусство музыки и танца, которые разворачиваются без направленности к каким-то будущим результатам. Никому и в голову не придет, что симфонии надлежит улучшаться в своем качестве по ходу исполнения и что все дело для исполнителей заключается в достижении ее финала. Суть музыки раскрывается в каждом мгновении ее исполнения и слушания И точно так же, я полагаю, обстоит дело с наибольшей частью нашей жизни, и у тех, кто чрезмерно поглощен ее улучшением, быва–ет, что они забывают ее прожить. Музыкант, чьей главной заботой становится в каждом выступлении сыграть лучше, чем в предыдущем, настолько лишает себя участия в собственной музыке и удовольствия от нее, что впечатлять аудиторию ему придется лишь тревожным трепетом своей

техничности.

Итак, работу философа в главном ее содержании ни в коем случае не следует ставить в один ряд с деятельностью моралистов и реформа–торов. В духе художника присутствует такая вещь, как философия, любовь к мудрости Его философия никогда не будет проповедовать и призывать к каким-либо видам практики, ведущей к самосовершенствованию Работа философа-артиста, насколько я ее понимаю, состо–ит в том, чтобы открывать и восславлять вечный и бесцельный процесс человеческой жизни Просто от избытка переживаний и от изумления он хочет рассказать другим о той точке зрения, с которой мир невообразимо хорош таким, каков он есть, и люди хороши такими, каковы они есть Независимо от того, насколько может оказаться сложной попытка выразить такую точку зрения и не впасть при этом в невнятицу, не выглядеть безнадежным мечтателем, какая-то подсказка обязательно найдется, если философу посчастливилось испытать подобное самому

Для тех, кто упрямо видит в любом виде деятельности одно лишь стремление к цели, это может прозвучать как намерение и желание улучшиться Беда в том, что наш западный здравый смысл остается негибким, аристотелевским, и мы поэтому убеждены, что воля никогда не действует кроме как ради какого-то блага или удовольствия. Но при аналитическом рассмотрении этого убеждения проясняется, что мы делаем не более того, что делаем. Ведь если мы всегда делаем то, что нам нравится (даже совершая самоубийство), нет никакого способа указать на то, что доставляет нам удовольствие, независимо от того, что мы делаем Применяя подобную логику, я лишь бросаю камень обратно туда, откуда он появился, ведь я отчетливо сознаю, что выражение мистического опыта не выдерживает логической проверки Однако, не в пример последователю Аристотеля, мистик не претендует на логичность Сферой его опыта является неизъяснимое И тем не менее эта потребность означает не более того, что речь идет о сфере физической природы, о том, что является не просто отвлеченными понятиями, числами или словами.

Если опыт «космического сознания» неизъясним, то оказывается, что, пытаясь облечь его в слова, человек не «говорит» ничего в смысле обмена информацией или высказывания утверждений Речь, выражающая подоб–ный опыт, больше похожа на восклицание. Или, лучше сказать, это речь поэтическая, а не логическая — причем поэтическая не в обедняющем смысле логика-позитивиста, а в смысле декоративной и прекрасной бес–смыслицы. Существует разновидность речи, которая способна сообщить о чем-то, будучи не способной об этом сказать. С этой трудностью столкнулся Кожибский (*), когда пытался выразить простую как будто мысль о том, что вещи не есть то, чем они являются в сказанном о них, и что, например, слово «вода» само по себе нельзя выпить Он формулировал это в «законе неидентичности»: «Вещь не является ничем из того, чем, как вы говорите, она является». Но из этого следует, что она и вещью тоже не является, ведь если я говорю, что вещь есть вещь, то она не есть вещь. О чем тогда мы говорим? Кожибский пытался признать, что мы говорим о неизъяснимом мире физической Вселенной, о мире,

который является иным, чем слова. Слова представляют его, но если мы хотим узнать его напрямую, то нам следует делать это через непосредственный сенсорный контакт. То, что мы называем вещами, фактами или событиями, есть прежде всего не более чем удобные единицы восприятия, узнаваемые вешалки для названий, отобранные из бесконечного множества окружающих нас линий и поверхностей, цветов и текстур, пространств и плотностей. Такой способ разделения бесчисленных вариаций на отдельные вещи является не более устоявшимся и окончательным, чем принцип группировки звезд в созвездия.

*** А Кожибский (Korzibski, A) — основатель общей семантики. Одна из основных его работ — Science and Sanity An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics The international Non-Aristotelian Library Publishing Co, Lakeville, CT, 1933 — Прим. перев.**

Из этого примера, впрочем, несомненно ясно, что мы способны указать на неизъяснимый мир и даже выразить идею его существова- ния, будучи не в состоянии сказать точно, что он такое. Мы не знаем, что это такое. Мы знаем лишь, что это есть. Чтобы иметь возможность сказать, что он такое, мы должны быть способны классифицировать его; однако очевидно, что то «все», в котором очерчивается полное многообразие вещей, не поддается классификации.

Я полагаю, что сфера «космического сознания» — это то же самое, что «неизъяснимость мира» у Кожибского и других представите- лей семантики. Там нет ничего «духовного» в обычном абстрактном или идеационном смысле. Она конкретно физична и вместе с тем по той же самой причине невыразима (или неизъяснима) и неопределима. «Космическое сознание» — это освобождение от самосознания, то есть от того фиксированного убеждения и чувства, что твой организм является абсолютной и отдельной вещью, отличной от соответствующей единицы восприятия. Ведь если становится очевидным, что разделение нами мира линиями и поверхностями на единичные предметы произво- дится лишь для удобства, то все, что я назвал собой, в действитель- ности неотделимо ни от чего другого. Это именно то, что испытываешь в интересующие нас экстраординарные моменты времени. И те контуры и очертания, которые мы называем вещами и используем для описания вещей, вовсе не исчезают в какой-то лучезарной пустоте. Просто становится ясно, что, хотя их можно использовать в качестве разделяющих, на самом деле они ничего не разделяют. Как бы сильно ни был я впечатлен различием между звездой и темным пространством вокруг нее, мне не следует забывать, что видеть то и другое я могу только благодаря соотношению того и другого, а это соотношение нераз- делимо.

Самой, впрочем, удивительной чертой такого опыта является убеж- денность в том, что весь этот неизъяснимый мир «правилен», на- столько правилен, что наше нормальное беспокойство делается сме- хотворным, что если бы люди сумели увидеть это, они обезумели бы от радости.

И король бы обрезал кусты, И священник — рвал цветы.

Совершенно отдельно от трудности соотнесения этого мироощущения с проблемой зла и боли встает вопрос о самом смысле утверждения «Все будет хорошо: и все будет хорошо, и весь порядок вещей будет хорош». Сам я могу лишь сказать, что смысл утверждения заключается в переживании самом по себе. Вне этого состояния сознания оно не имеет никакого смысла, так что в него даже поверить как в откровение трудно без настоящего собственного опыта. Ведь в настоящем переживании делается совершенно очевидным, что вся Вселенная — это игра любви в полном смысле слова и в любом оттенке словоупотребления — от животной похоти до божественного милосердия. Каким-то образом сюда включается даже гибельность биологического мира, где каждая тварь живет тем, что пожирает других тварей. Привычная для нас картина этого мира оборачивается так, что теперь каждая жертва предстает как приношение себя в жертву.

Если бы нас спросили, истинно ли такое мировидение, мы ответили бы для начала, что нет такой вещи, как истина сама по себе, — истина всегда соотнесена с точкой зрения. Огонь жгуч по отношению к коже. Структура мира являет себя такой, как она нам предстает по отношению к нашим органам чувств и мозгу. Поэтому определенные изменения в организме человека могут превратить его в некий вид субъекта восприятия, для которого мир будет таким, каким он выглядит в этом мировидении. Однако какие-то другие изменения в человеческом организме с равным успехом дадут нам истину мира такой, каким он видится шизофренику и разуму, поглощенному депрессией.

Существует, тем не менее, возможное возражение против наивысшей истины «космического» переживания. Основывается оно попросту на том, что никакая энергетическая система не способна на совершенный самоконтроль, если не прекратит движение. Контроль — это ограничение в движении, а поскольку полный контроль будет, надо полагать, полной ограниченностью, то возможность контроля всегда должна оставаться менее значимой, чем возможность движения, если движение должно быть вообще. Что касается человека, то полная ограниченность в движении равнозначна тотальному сомнению, отказу в доверии собственным чувствам и ощущениям во всех отношениях. Наверное, воплощением ее является экстремальная кататония с отказом от всякого движения и всякой коммуникации. С другой стороны, движение и снятие ограниченности равнозначны доверию, вверению себя неконтролируемому и неизвестному. В крайней форме это должно означать отдачу самого себя предельному непостоянству, и, на первый взгляд, жизнь вот так неразборчиво доверившегося ей как будто соответствует видению мира, в котором «все правильно». Все же такая точка зрения должна исключать любой контроль как неправильность, а значит, в ней нет места и для правильности ограничения. Существенную часть «космического» переживания составляет, тем не менее, то, что нормальная ограниченность сознания в рамках чувства Эго тоже правильна, но не всегда и только потому, что она имеет меньшую значимость, чем отсутствие ограничений в движении и доверии.

Дело просто в том, что, если есть какая бы то ни было жизнь и какое-либо

движение, основополагающей должна быть установка на веру (заключительная и фундаментальная установка), а установка на сомнение должна оставаться вторичной и менее значимой. Это еще один способ сказать о том, что философ-художник, занимающийся необъятным и всеобъемлющим фоном человеческой жизни, должен всецело подтверждать и принимать этот фон. Иначе у него не будет вообще никаких оснований для предусмотрительности и контроля по отношению к деталям, выступающим на передний план. Однако слишком легко оказаться настолько втянутым в эти детали, что пропадет всякое чувство соразмерности, и слишком легко свихнуться в стремлении все на свете поставить под свой контроль. Мы становимся безумными, неменяемыми и лишенными основательности, когда теряем доверчивое осознание того неконтролируемого и неуловимого фонового мира, который в предельном смысле и есть то, чем являемся мы сами. А если и есть какая-то разница между совершенным сознательным доверием и любовью, то она очень мала.

Чувство, которое люди испытывали в присутствии Будды, состояло в том, что они должны быть чем-то больше, чем просто людьми.

— Ты Бог? — спрашивали они. — Нет, — отвечал Будда. — Ты ангел? — Нет. — Тогда кто же ты? — спрашивали они. — Я пробужденный.

(Хьюстон Смит «Религии человека»)

«Ты сам должен приложить усилие. Мастер только указывает путь».

(Будда)

«Те, кто... будет светильником для самих себя, должны полагаться только на самих себя, а не на какую-то внешнюю помощь, раскрываясь истине, как своему светочу, и ища спасения только в истине; те не будут ждать помощи ни от кого. Это те... кто достигнет наивысшей точки. Но они должны позаботиться о своем ученичестве».

Будда (умирая)

Примечания:

1. Юан Чоу (ум. в 1287 г.). Цит. по: Suzuki. Essays in Zen Buddhism. Vol. 2. P. 92.

2. Bernard Berenson. Sketch for a Self-Portrait. New York: Pantheon Books, 1949. P. 18.

3. Dame Julian of Norwich (1342-1414). Revelations of Divine Love. XXVII. Ed. Grace Warrack. London, 1949. «Надлежит грешить» означает «играет обязательную роль». Ср. со знаменитым пассажем из Римской литургии на Страстную субботу: «О, воистину необходимый грех Адама, который искуплен был смертью Христа! О, счастливая ошибка, что так ценна, и так велик

искупитель!».

4. Цит. по: William James. Varieties of Religious Experience. London, 1929. P. 399.